
Павел КРУСАНОВ

ПОЛЕТ ШМЕЛЯ

Рассказ

В халате и стоптанных домашних тапочках на войлочной подошве Иванюта сидел в кресле и теребил исписанный лист бумаги. Под потолком вокруг лампочки, как атлет на брусках, кружилась муха. Иванюта неторопливо рассуждал: «Халатное отношение... Какой точный, емкий и красивый образ!»

Шесть лет назад в результате изнурительной войны, целью которой служила безоговорочная капитуляция воли одной из сторон перед волей другой, он развелся с женой. К тому времени его раздражало в ней буквально все, но особенно — небольшой белый рубец на левом запястье, на тыльной его стороне, противоположной руслу голубых вен. Такие рубцы, сияющие на коже с естественной пигментацией неестественной белизной, не подвластны загару и образуются, как правило, в результате сведения родинок или наколок либо просто от сильного ожога. В данном случае подозрение падало на родинку, хотя ни до, ни после свадьбы Иванюта не удосужился поинтересоваться тайной рождения этой бледной отметины, постепенно, как накапливающаяся (кап-кап — капля к капле) в организме ртуть, отравлявшей его существование и в конце концов разьевшей в его психике зудящую рану.

На каком основании они с будущей женой некогда сошлись, теперь было уже не припомнить. Предание гласило, что однажды Марина посмотрела на Иванюту и миг выпила его душу своими серыми глазищами. Последовавшие за тем семь лет совместной жизни показали, что пустота непременно чем-то заполнится — на месте выпитой души проклюнулось и разрослось давящее осознание ошибки. И пусть заниматься домашним хозяйством теперь приходилось самому, но вместе с тем никто уже не мог заставить Иванюту делать то, что в данный момент он делать не собирался. Это обстоятельство было воистину бесценным и перевешивало любые бытовые неустойчивости. Благодаря ему склонность Иванюты к праздному созерцанию и неспешному раздумью только усугубилась. Вот и теперь, внешне бездействуя, он совершал внутренний труд — он мыслил.

Павел Васильевич Крусанов родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил географо-биологический факультет Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. В первой половине 1980-х — активный участник музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба. Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати, редактором в издательствах. Автор девяти романов и нескольких сборников малой прозы. Отдельные произведения переведены на сербский, словацкий, болгарский, немецкий, итальянский, английский и китайский языки. Лауреат премии журналов «Октябрь» (1999) и «Дружба народов» (2019). Четырежды финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010 и 2014). Финалист премии «Большая книга» (2010). Лауреат премий «Созидающий мир» (2020) и «Гипертекст» (2022).

«Я владею грамотой, — думал Иванюта, — но слово мое не имеет глубины, чтобы вместить вселенную. Играя с пустотой, я выпустил двенадцать поэтических сборников, некоторые из них, как ни странно, нашли читателя. Дребедень? Трагедия? Нет. Никакой трагедии — рутина. Бескорыстная жизнь мимо денег тоже вовлечена в карусель товарооборота. Мир вертится, как заведенный: поэт слагает оду или мадригал, а читатель... — Тут мысль Иванюты ввиду затруднения с финальным завитком запнулась, но быстро собралась: — Воскуряет фимиам. Одна фантазия идет в оплату другой...» Иванюта приподнял полу халата и закинул ногу на ногу. А может, все-таки есть глубина? Ведь ценность записи зависит и от читающего — насколько тот способен одухотворить безжизненные буквы...

Иванюта желал бы освободиться от тревожных сомнений, но не мог — он был сторонником предельной честности самоотчета. «Хочешь быть свободным? — безжалостно вопрошал он себя. — Кошки свободны. Они — одна сплошная свобода. Хочешь быть кошкой?» Иванюта не хотел.

Воспарил он в этот миг над экспозицией, то как человек, не чуждый литературных уловок, непременно бы предположил, что по правилам завязки в этом месте либо герою следует совершить поступок, либо полагается выйти из тени и обозначить свое присутствие неумолимому року, либо что-то должно произойти само собой. Но ничего не случилось — жизнь не следовала художественным установлениям.

Очередной приступ самообличения накрыл утром, когда Иванюта на свежую голову перечитал написанное накануне вечером стихотворение. Оно называлось «Урок терпимости» и имело остро иронический характер. Так, по крайней мере, в творческой горячке представлялось вчера. Строки крутились в памяти — лист был не нужен.

Чуден мир от тьмы до света.
Полон див кошель природы.
Познакомьтесь, дети: йети —
Существо седьмого рода.
Посреди озер и суш
Он не женщина, не муж.

Почему йети? С какой стати йети? И где здесь ему привиделся изысканный яд? Вместо сияющего кристалла какая-то органическая химия, хлипкая кислотная жижа — морок, наваждение...

Ищет, с кем единосущен:
Голос — бубен, глаз — стилет,
Внемлет слух шуршанью кущи...
Тщетно, тщетно — пары нет.
Посреди семи болот
Он не этот и не тот.

Ну, это еще куда ни шло. Плотно, упруго, покато... Изящная змеиная аллитерация... Иванюта перепрыгнул через очередное никудышное шестистишие, в котором «существо седьмого рода» в невинной забаве «расплетает паука». А дальше? Что это, ей-богу?

Не для нас одних вертится
Мир, где жизнь творит навоз,

Надо, дети, потесниться:
Космос — общий, как колхоз.

Какая-то гаврильчиковщина¹, нарочитый, измышленный примитивизм. Но ужаснее всего выглядел финал, где наставник настраивает детскую оптику на политически корректный фокус. Иванюта даже не стал прокручивать его — финал — в голове, так он был скверен. Полная чепуха. Иванюта невольно поморщился, словно уловил носом неприятный запах. Но ведь вчера его распирали восторг, в груди плясало ликование — казалось, пришло новое дыхание, он вступил в звонкий, сверкающий хрустальными гранями период... А тут такое безобразие. Шмяка. Что ж, живой человек портится не так быстро, как мертвый, но все-таки портится. И всякое дело, которого он, испорченный, коснется, шибает в нос.

Иванюта верил: поэзия — преемница чародейства. Поэтому если ты написал свое заклятие, а в ответ не взвились молнии, не сотряслись небеса и к ногам твоим не спустился дракон, то ты не поэт, а шельма и самозванец. Он верил этому безоговорочно до тех пор, пока не понял: поэзия — это заклятие, которое свершается не в обозримых окрестностях, а в твоём сердце. Что же теперь? Теперь обманулось и сердце.

Раздавленный творческой неудачей, которую нельзя было исправить, а следовало как можно скорее забыть, Иванюта порывисто скомкал исписанный столбцом строчек листок и бросил его на подоконник, который служил своего рода чистилищем для всевозможных набросков и черновиков — до той поры, пока в голову Иванюте не приходила блажь произвести в своей берлоге уборку. Тогда бумажный завал, за редким исключением, касавшимся каких-то признанных вдохновенными обрывков, пожирала геенна огненная — мусорный пакет на завязочках.

Иванюта жил на Ковенском в небольшой студии, чудесным образом доставшейся ему после развода и раздела квартиры на Некрасова, принадлежавшей его покойным родителям. Он не очень держался за родовое гнездо, поэтому легко согласился на размен, но в итоге был рад, что после всех перипетий остался в том же городском околотке, где прошли его детство и юность. Причина столь легкомысленного отношения к наследственной недвижимости заключалась в аквариуме. Это был большой по меркам детства семидесятилитровый стеклянный параллелепипед, стоящий на тяжелой тумбе у стены в гостиной. На дне его среди организованного из камней и водорослей ландшафта виднелись в лучах струившегося сверху света неоновой лампы руины какой-то терракотовой Атлантиды. Пузырьки воздуха из компрессора оживляли зеленоватый подводный пейзаж серебристым вертикальным движением, заставлявшим водоросли волноваться. Но печально было не это — ужасали рыбы, пробующие на вкус волокнистые макароны собственных испражнений, должно быть, неверно принимая их за корм. По какой еще причине они могли осквернять подобным образом свои немые рты? После смерти родителей аквариум был решительно упразднен, однако добрый десяток лет ежедневного подводного театра не мог не отразиться на неокрепшей психике. Иной раз Иванюта чувствовал себя такой рыбой, ошибающейся насчет корма, — когда в публичном заведении играла жуткая музыка или в гостях работал телевизор, предъявляя что-то уже не один раз переваренное, и этот чужой телевизор нельзя было выключить.

Душевная травма, вызванная творческим провалом, требовала деликатного лечения, которое могло выглядеть как отвлекающая кропотливая работа с коллекцией (обработка полевых сборов жуков, выявление ценных экземпляров с дальнейшими их

¹ Имеется в виду художник и поэт Владлен Васильевич Гаврильчик (1929–2017).

определением, монтировкой и водворением на положенное место в энтомологической коробке) либо как умеренное возлияние вкупе с необязательным общением — предпочтительно с малознакомыми или вовсе не знакомыми людьми. На дворе стоял май — прошлогодние полевые сборы были вдоль и поперек исследованы еще зимой. Остался второй вариант. За жизнь Иванюта испробовал множество способов терапевтической блокировки рокового несоответствия действительности грезе — эти два, если выбирать из тех, что не вели к необратимому разрушению личности, были самыми действенными.

Выйдя на Ковенский, Иванюта первым делом направился в «Маяк» — заведение с причудливой атмосферой, напоминающее спортивный бар, разместившийся в приемной партаппаратчика. Он находился в доме, из окна которого однажды вывалились одна за другой шесть любопытных старух, — наблюдательный пункт Хармса находился ровно напротив, через улицу, о чем извещала прохожих памятная доска на стене. «Маяк» в этот час пустовал, за единственным занятым столом друг напротив друга сидели два парня и две девушки: и те и другие были одеты на удивление одинаково — синие джинсы, черные футболки, — причем сразу становилось понятно, что униформу определяет не требование дресс-кода, а единственно бедность воображения. Один из парней с молодой, еще пушистой бородкой был либо журналистом, либо фотографом — иногда Иванюта писал критические статьи в доверчивый глянec и мельком встречал его в редакциях. Чаще — в одном журнале без принципов, но с робкой нетрадиционной ориентацией (атлеты в нижнем белье, демонстрация рубашек и дорожных часов на красавцах моделях). Встречи были случайны и ни к чему не обязывали — они даже не кивнули друг другу.

Иванюта с расстановкой, в два приема, накатил сто граммов водки под портретом Дзержинского — этот пламенный заряд должен был задать тон для дальнейшей настройки — и запил обжигающую ноту клюквенным морсом.

На улице Жуковского по пути к Литейному навстречу Иванюте попался прохожий, удивительно напоминавший доцента Мутовкина — университетского преподавателя по природопользованию: красное веснушчатое лицо с белесыми бровями и ресницами, редкие, зачесанные назад волосы, коренастая фигура, походка с наклоном вперед, серый потертый костюм и клетчатая рубашка без галстука. Он выглядел так, как выглядел Мутовкин двадцать пять лет назад — петербургский морок, разнесенное во времени двойничество... Иванюта предался воспоминаниям. Студенты ценили лекции Мутовкина не как добротный источник знаний, а как филологический курьез. Учебные монологи доцента пестрели чудовищным несогласованием слов, которое теперь встречается в компьютерных переводах и социальных сетях, а тогда возникло в результате освоения научной речи случайными людьми, пришедшими в науку из низов и до вершин так и не поднявшимися. «Удовлетворять потребностям» было далеко не единственной приправой его лекторского красноречия — высверкивали и другие жемчужины: «не играет значения», «благодаря трудов»... На примере Мутовкина можно было продемонстрировать правоту утверждения: язык, на котором ты говоришь, определяет то, как ты думаешь. Контаминация мыслей (в основном заемных), изредка проглядывающих в его экспромтах, поражала забавной, но нежизнеспособной нестыковкой. Под руку с двойником Мутовкина шла женщина, отечные ноги которой, открытые ниже колен, походили на баобобы, накопившие воду в стволах на всю оставшуюся жизнь.

В полуподвальном продуктовом магазине на Некрасова (второй дом от Литейного), если пройти заветным коридорчиком, можно было попасть из торгового зала в закуток на два столика, где за барной стойкой юноша в белом халате с засученными рукавами разливал простые и надежные напитки. Входя в этот потаенный вертеп,

Иванюта грустно размышлял о себе: мало того, что он способен на посредственные стихи, при этом он совершенно не годится в герои — героям думать не полагается, им полагается совершать дерзновенные поступки и проходить суровые испытания любовью. А он думает, не совершая и не проходя, и в этом — его преступление. Да и думает-то он кое-как — не то что Макиавелли или французские структуралисты, а всякую ерундовую всячину.

Через десять минут, вновь выходя на солнечную улицу, Иванюта уже чувствовал за плечами крылья — ему хотелось лететь, вольно гулять по свету, следуя за собственной тенью, и лишь в безлунную ночь или в ненастную погоду делать привал, чтобы ненароком не сбиться с пути...

Недолгий полет прервался у Большого театра кукол, чей роскошный фасад встретил Иванюту густыми переливчатыми басами — здание было возведено в том волнующем стиле, который всегда казался ему прекрасным предсмертным аккордом архитектуры: впоследствии в ней уже не было ровным счетом никакой музыки, даже застывшей — музыка покинула это искусство, остались только диджейские сведения треков, мертвенный скрежет, хрип. Целое облако воспоминаний окутало Иванюту, вернув его в предметное пространство, но закружив во времени. Он даже постоял недолго у скромных дверей служебного входа (как ни странно, расположенного в соседнем здании), прислушиваясь к нахлынувшим ощущениям.

На третьем курсе биофака по причине душевных метаний он ушел в академический отпуск и, испытывая веселый страх, устроился в этот театр осветителем, благодаря чему на смену студенческой нищете (стипендию за нерадивость он получал лишь первые полгода) в его жизнь пришла благородная бедность. В те времена театром руководил Сударушкин, толстогубый режиссер, бывший уже и народным, и лауреатом — неугомонный, деятельный, умевший в нужной пропорции сочетать снисходительность и строгость. Ставя спектакль, будь то «Сказка про Емелю» или шукшинские «До третьих петухов», он никогда не удовлетворялся поверхностным током мысли или сюжетным плетением, требуя присутствия в каждой сцене иронического ангела. И не просто присутствия — деятельного участия. Впрочем, большего сказать о Сударушкине Иванюта не мог, так как местное божество редко нисходило до технического состава, отдавая всего себя вместе с печенью избранному актерскому коллективу.

Студией звукозаписи в Большом театре кукол заведовала Аня Дрозд — стройная томная дама лет тридцати двух, не чуждая музыкального андеграунда: при ее попустительстве в студии конспиративно записывали свои магнитоальбомы Юрий Кукин и Михаил Науменко. Муж Ани, начальник монтажного цеха Матвей Аронович Дрозд, был старше ее лет на двадцать, тяготился избытком тела, неумеренно выпивал, страдал грудной жабой и уже совершенно не соответствовал ее воспаленным мечтам о радостях плоти. Не разводясь, они даже жили отдельно, благо жилплощадь у каждого была своя — впрочем, иной раз Матвей Аронович, испив живой воды с рабочими сцены, начинал ощущать фантомные боли супружества и закатывал Ане небольшие скандалы на почве проснувшейся ревности. Да, Аня любила юных и ничего не могла с собой поделать.

Как-то раз, когда Аня Дрозд находилась в очередном поиске, она собрала у себя дома компанию в полдюжины молодых людей, пригласив и Науменко, и недолго поигравшего в «Аквариуме» гитариста Кожевникова, и устроившегося одновременно с Иванютой на работу нового звукооператора Глухарева, и самого Иванюту, а также кого-то еще, кто напрочь выпал из памяти, оставив на некогда занимаемом месте белое пятно, как существующий, но не имеющий о себе свидетельств клочок земли на географиче-

ской карте. Пили, пели, смеялись, танцевали — тогда это было принято. Зная о страстях хозяйки, горевшей изнутри, как вулкан, и совершенно не скрывавшей этого, Иванюта был сдержан: в двадцать лет зрение устроено так, что тридцатилетние кажутся уже немного перезревшими. Тем не менее он тоже танцевал с Аней, и это был странный танец, осложнявшийся тем, что партнерша поочередно чиркала бедрами о зажигательную головку предмета, нисколько Иванюте не подвластного, и свои умышленные опыты сопровождала таинственной улыбкой, тем более укреплявшей предмет в позиции, чем скромнее потуплялся ее взор. Уходя от назойливых бедер партнерши, Иванюта чувствовал, как возвращается в свои пятнадцать лет, когда всякий танец превращается в пытку — близилась такая неприятность, после которой спасти положение могло только бегство. В чем дело? Почему он устоял перед чарами хозяйки, несмотря на растворенный в крови и заглушающий самые непоколебимые принципы портвейн «Алабашлы»? И тут перед внутренним взором Иванюты со всей отчетливостью, на какую только способна зрительная память, возникла ее рука — рука Ани, накрывающая призывным, приглашающим к тактильной близости жестом его руку: на тыльной поверхности пальца, на уровне первой межкостной мышцы сиял белый бугристый рубец — след от сведенной наколки. Внутри Иванюты прокатилась волна брезгливой дрожи. Убей бог, он не помнил об этом шраме. Но теперь спросил и — надо же — получил незамедлительный ответ.

В тот вечер в гостях у Ани Дрозд, кажется, задержался новый звукооператор Глухарев. И это при том, что межвидовое, а тем более межродовое скрещивание в живой природе — вещь чрезвычайная.

В сквере на углу Некрасова и Маяковского, куда в задумчивости переместился Иванюта, вокруг выставленной напоказ каменной головы горлана-главаря (*голова главаря* — отметил любопытно звучащую фигуру Иванюта), взятой под опеку городскими голубями с их вечным недержанием, происходила жизнь. Здесь — да, именно здесь он успокоит свое сердце. Вот только надо сделать верные движения и подготовиться. В посмертии, растянувшись на всю длину дарованных им улиц, тут роковым образом пересеклись два поэта, каждый из которых на свой лад был одержим идеей общественного блага — своим сведенным в крест авторитетом они милосердно осенили округу, так что разновозрастной публике, присмотревшей этот сквер для вольного времяпровождения, ничего другого и не оставалось, как только безмятежно дышать полной грудью. Даже полицейские, как правило, относились к здешнему обществу благосклонно и без веской причины никого не винтили. Если только не шли на принцип — по молодости, глупости или бесчувствию.

Заглянув в заведение «Русалка» (истинное имя — «РосАлко» — шансов прописаться в городском фольклоре не имело), он взял все, что требовалось, включая колотый пармезан в запаянном полиэтиленом лоточке. С шуршащим пакетом в руках, в ожидании света зеленой лампочки, Иванюта остановился возле светофора на переходе через улицу Некрасова и некоторое время смотрел на свой родной дом, по диагонали от него возвышающийся углом на перекрестке. С этого ракурса дом позволял обозревать оба свои крыла — все оставалось по-прежнему, разве что с тех пор, как Иванюта его покинул, в первый этаж крыла, вытянутого вдоль Некрасова, подселилась кухня здорового питания «Два гуся», цены в которой щипались, а в крыле по Маяковского обосновался элегантный книжный магазин, чья героическая судьба на фоне общего развоплощения некогда могучих чар художественного слова представлялась печальной.

В сквере все скамейки были либо полностью, либо частично заняты (даже каменную голову поэта обтапывали сразу два голубя), и это Иванюту обнадеживало —

окажись тут свободной хотя бы одна лавка, трудно было бы подсесть к кому-то и завязать беседу, не вызвав подозрений в злонамеренности, а так... Деликатно испросив разрешения, он пристроился на скамейку, где уже сидела миловидная девица, водящая пальцем по экрану смартфона. Она была примерно в том же возрасте, в каком запечатлелась в его памяти Аня Дрозд — правду сказать, в глазах сегодняшнего Иванюты тридцатилетние выглядели куда свежее, чем в пору его романа с Большим театром кукол. На удивление соседка сразу же приветливо поддержала разговор, убрав в сумочку смартфон, и даже без стеснения согласилась на стаканчик мартини — в пакете у Иванюты была и водка, но для тяжелой артиллерии еще не пришло время.

Это была странная женщина. Когда она задавала Иванюте свои удивительные вопросы о роде его занятий, он не мог взять в толк: она пытается постичь глубину его души или глубину кармана? Тем не менее он рассказал про себя всю правду: про маленькое издательство при типографии, которым заправлял и которое вот-вот разорится, про запасной аэродром в виде должности завскладом при той же типографии, про свои стихи, про четвертое место в сетевом конкурсе сонета, про верстальщицу в издательстве, жену сержанта росгвардии, у которой на шее под правым ухом пластырем был заклеен свежий рубец от сведенной мохнатой родинки (снова волна брезгливой дрожи), несмотря на что она была уверена, будто принадлежит к литературной богеме. Рассказал, что один раз поцеловал ее в губы, покрытые сиреневой помадой, и она прошептала, что этим он вернул ее к жизни. Нет, не вернул, а пробудил. Она так и сказала: «Ты пробудил меня к жизни». При этом пропасть отделяла ее от Спящей красавицы.

Небо над городом сияло ясно-голубым цветом. Девица с мартини в пластиковом стаканчике слушала внимательно, плотно сжав колени и покусывая кусочек пармезана. Соседняя скамейка была занята большой компанией — на всех не хватило места, и два парня стояли рядом со своими сидящими товарищами, возле урны, тоже держа в руках пластиковые стаканчики, в которые один из сидевших, щеголь в клетчатых штанах и соломенном канотье, наливал из бутылки, спрятанной в полиэтиленовом пакете, водку. С краю скамьи, чтобы никого не стеснять грифом, помещался мужичок с гитарой и длинными седыми волосами, собранными на затылке в тугой хвост, — он играл и пел что-то из ленинградских восьмидесятых, причем делал это весьма искусно, что выдавало в нем музыканта, знававшего подмостки и посланнее этих.

Вновь наполнив стаканчики мартини и немного послушав чистые ностальгические звуки, Иванюта поделился соображениями по поводу нечаянного концерта с соседкой, и вместе они решили, что права их барабанных перепонок не нарушены. В детстве Иванюта тоже учился играть на гитаре под руководством долговязого Толика — тот был сыном друзей его родителей, старше Иванюты лет на пять. Будучи довольно музыкальным от природы, со слухом и голосом, он вызывал жгучую зависть своим умением извлекать из гитары гармоничные звоны. Одна беда — дыхание у Толика было неприятным. Чрезвычайно неприятным. Оно было смердящим. Но маленький Иванюта так хотел научиться играть... Должно быть, в ту пору к нему и пришло осознание, что страсть — тяжкая и далеко не чисто плотная работа, и если действительно хочешь чем-то овладеть, хочешь достичь результата, придется преодолеть все — не только неуклюжесть пальцев, но и отвращение. И так будет всегда. Куда делся этот Толик? Кажется, он рано умер — люди с таким дыханием долго не живут. Все это Иванюта проговаривал вслух, с каждым словом яснее и яснее ощущая, что время мартини на исходе.

Посередине сквера, огороженного по трем сторонам периметра рядами скамеек, каре которых размыкалось возле каменной головы, два карапуза под рассеянным при-

смотром бабушки, упустившей питомцев с расположенной тут же, в закоулке садика, детской площадки, неуклюже гоняли яркий мяч, своей невесомой природой больше напоминавший воздушный шарик. После удара неловкой ножки мяч отскочил, описав выдуваемую для него легким ветерком дугу, в сторону Иванюты и его собеседницы. Та поставила стаканчик на скамейку и присела на корточки перед ярким пузырем, намереваясь отправить его, наподдав ладонью, обратно. Иванюта смотрел на нее сзади. Джинсы девушки были с низким поясом, а топик слишком короткий — ее обнаженный крестец имел вид бархатистого ромбика, под которым открывалась щель, чье дальнейшее развитие при всей своей низости джинсы утаивали. Когда она садилась, под ромбиком расплылась чуждая улыбка — чеширская улыбка без лица. Это длилось чуть дольше мгновения, и тем не менее Иванюту болезненно кольнула в глаз белая точка на той никак не демаркированной границе (разве что следом от бельевой резинки, которого в данном случае не было), где заканчиваются владения поясницы и в права вступает ее нижняя соседка. Отбросив мяч, девица встала и повернулась к Иванюте другой улыбкой...

И тут он в очередной раз почувствовал, что, подобно глупой рыбе, ошибся с кормом. Однако одновременно с радостным облегчением понял, что лечение завершено. Как быть? Бежать? Беда в том, что куда ни побежишь, в итоге все равно окажешься там, где тебя ожидает тот же бледный рубец на чьей-то коже. Поразившись этой, в общем-то, неглубокой мысли, Иванюта достал из кармана блокнот и начертил в нем столбиком одну за другой восемь строк — без помарок, чисто, будто записывал чужую отчетливую речь.

Едва он поставил точку, как воздух содрогнулся, словно беззвучно шарахнула полуденная пушка, небеса моргнули, колыхнулась отброшенная липой тень, и на скамью рядом с Иванютой опустился дракон. Он был чудесен, хоть и мал — подверни хвост, и разместится в спичечной коробке. «Вот и хорошо», — решил Иванюта. Действительно — большой дракон, чьи крылья озарены лучами славы, при всей своей царственности, как кремковый торт с газировкой, мало кому пошел на пользу.